взаимосвязь процессов, происходящих в современном мире, ситуацию, порожденную научно-техническим прогрессом в условиях ядерного века. Политике изоляции и личных приоритетов должно противостоять разумное развитие на основе общечеловеческих ценностей. Общество стоит перед выбором: внести изменения в технический категорический императив или спровоцировать в недалеком будущем гибель цивилизации. Несмотря на утопичность многих положений концепции В.И. Вернадского, его идеи заставляют человечество вновь обратиться к насущным проблемам, пересмотреть свою позицию, выработать совместные решения в целях дальнейшего благополучного сосуществования. Идеальное планетарное развитие по В.И. Вернадскому – эта мечта цивилизованного человека, но это и надежда на то, что человек задумается о последствиях своей научной и технической деятельности, наносящий существенный вред окружающему миру. Человечество стоит перед выбором: измениться и выжить или остаться лишь потребителем, стремительно приближаясь к катастрофическому сценарию развития природы и общества.

***

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2002. – 576 с.
2. Глосикова О. Онтологический анализ коэволюционной взаимосвязи социокультурной реальности и природы. – Минск, 2001. – 137 с.
3. Моисеев Н.Н. Русский космизм и учение В.И. Вернадского о ноосфере // В.И. Вернадский: pro et contra: Антология литературы о В.И. Вернадском за сто лет (1898-1998). Под ред. А.Л. Яншина; Сост. А.В. Лапо. – СПб.: РХГИ, 2000. – 872 с.
4. Пестель Э. За пределами роста. Пер. с англ. Е.В. Нетесовой. – М.: «Прогресс», 1988. – 272 с. – URL: <https://gigabaza.ru/doc/61810.html> (дата обращения: 20.03.2020).

Масленников И.О.

Розанов и Леонтьев: философские сближения

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

(Россия, Обнинск)

doi: 10.18411/lj-06-2020-244

idsp: ljjournal-06-2020-244

Аннотация

Два незаурядных представителя русской философской мысли второй половины XIX – XX веков Розанов и Леонтьев были очень разными людьми. Несмотря на это их связывали очень тёплые взаимоотношения и они состояли хотя и в короткой, но очень интенсивной переписке. Данная статья представляет попытку разобраться в общности их философских интересов, а также в чём они расходились друг с другом.

Ключевые слова: В. В. Розанов, К. Н. Леонтьев, русская философия, культура, цивилизация, философия истории, религия, эстетика

Abstract

Two outstanding representatives of Russian philosophical thought of the second half of the XIX - XX centuries Rozanov and Leontiev were very different people. Despite this, they were connected by a very warm relationship and they consisted, albeit in a short, but very intensive correspondence. This article is an attempt to understand the community of their philosophical interests, as well as how they diverged from each other.

Keywords: V.V. Rozanov, K.N. Leontyev, Russian philosophy, culture, civilization, philosophy of history, religion, aesthetics

Взаимоотношения В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева — вопрос довольно интересный для любого, кто пытается разобраться в истории русской философии.

Интересный потому, что с одной стороны эти мыслители в чём-то сильно схожи между собой, а с другой — очень серьёзно отличаются. Сам Розанов писал: «нас соединило единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший дворянин-помещик был то же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в Оптиной пустыне очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но главное, нас соединила одинаковость темперамента»(5, с.320), а у Леонтьева всё выглядит иначе: «**Наконец**-то после 20-летнего почти ожидания я нашёл человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали!*»(там же, с.352). Как видим, оценки сильно различаются. Розанов говорит о схожести социального положения и психологии (темперамента), Леонтьев же чувствует единомышленника, т. е. родство на уровне идей. В «Уединённом» Розанов признаёт: «Трёх людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фл-го. ... Да... ещё сильнее себя я чувствовал Константина Леонтьева (переписка с ним)»(6, с.71). Но во Втором коробе «Опавших листьев» читаем: «С Леонтьевым — никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» — разное.... Да, мне многое пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя *первым*»(там же, с. 237). В связи с этим и хотелось бы разобраться, было ли у них действительно сходство на уровне идейно-теоретическом, или же каждый из них — полностью самобытная величина в истории русской мысли.

Предваряя публикацию своей переписки с Леонтьевым, Розанов подробно описывает, что его заочное знакомство с ним началось с «Анализа, стиля и веяния в произведениях гр.Л. Н. Толстого» в «Русском вестнике» за 1891 год, что вызвало жгучий интерес и к другим работам Леонтьева и частичное, т. е. неполное согласие с основными идеями автора: «я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании её у *богатых, а у бедных*; согласен с религиозным его устроением души, но, нуждаясь в религии как *утешении*, а не как источнике *квиезма* (его точка зрения); и был готов на борьбу, движение, «походы»(какие можно и куда можно), но в защиту пролетариата, а не против пролетариата»(5, с.320). Как видим, речь здесь идёт об эстетизме, религиозности и активной жизненной позиции в отстаивании своих идеалов. Более конкретно он высказался в статье «Поздние фазы славянофильства», посвящённой Н. Я. Данилевскому и К. Н. Леонтьеву, где связал с их именами выход этого учения за пределы национальной ограниченности, т. е. придание славянофильству значения всемирно-исторического, которое появляется у него с созданием собственных историософских концепций, что автоматически повышает его статус. И об источниках историософии Леонтьева он выражается предельно конкретно: «Три элемента образуют существо его духа, обуславливают его суждения, формируют его мировоззрение»(4, с.256), причём оговаривается, что соединены у него эти элементы очень неравномерно.

С.Г. Осьмачко определяет первенство Розанова в структурировании мировоззрения Леонтьева в виде т.наз. «креста К. Н. Леонтьева», состоящего из осей историософия — натурализм и эстетика — религиозность и уточняет, что «указанные элементы не соединяются в нём гармонично»(3, с.36). Дисгармония здесь в том, что натурализм определил его историософские построения, а эстетические воззрения сыграли решающую роль в его специфическом типе религиозности. Сам же Леонтьев делал акцент на своей историософии: «А главное, *историческую мою гипотезу* все старались обходить осторожным молчанием»(5, с.353), и в этом Розанов был с ним вполне согласен: «В *ней*-то и главная *суть* Л-ва; без неё — *его* просто *нет*»(там же, с.353), вполне оправдывая своё восприятие Леонтьевым как единомышленника.

Историософия Леонтьева достаточно хорошо известна и разбиралась неоднократно, общим местом стала мысль, что в его теории идеал эстетический соединился с биологическим. И действительно, начинает Леонтьев своё изложение в работе «Византизм и славянство» как человек, получивший хорошую естественнонаучную подготовку. Он проводит аналогию между развитием в живой и неживой природе, на материале растений, животных, биологических процессов в организме, даже в мире неорганическом — он всюду видит действие одного и того же закона развития: всюду — три стадии развития. Сначала — стадия «первичной простоты», когда всё ещё только начинается и совершенно невозможно предсказать, что из этого природного экземпляра в итоге получится. Время идёт, и живой организм вступает в новую фазу — период «цветущей сложности», когда организм наполняется жизненной силой, энергией и обретает множество индивидуальных черт и особенностей в пределах своей как родовой, так и видовой принадлежности. И, наконец, когда зенит развития пройден, начинается период «вторичного смесительного упрощения», когда сложность начинает исчезать, заменяясь более простым и элементарным.

И этот же закон, считает Леонтьев, действует и на уровне государств и цивилизаций. Обычно их жизненный цикл составляет 1000 — 1200 лет, меньше просуществовать можно, больше — нет. Исключением здесь является культура, которая иногда переживает государственный организм весьма прилично. Собственно, вся дальнейшая программа этим и определяется: «До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знамёнами надежд» (1, с.134). Сказанное напрямую относится и к России, которая, теряя свою самобытность, основанную на византийстве, заимствует европейские порядки, т. е. упрощается и, следовательно, на всех парах несётся к своей гибели. Именно острое предчувствие этого заставляло его давать рецепты (хоть немного отодвинуть неминуемый конец, о спасении речи не идёт) наподобие знаменитого «подморозить Россию», за что он и заслужил стойкую репутацию «византиниста-изувера», как называл его Георгий Федотов.

И. Фудель даёт краткую сводку практических рекомендаций Леонтьева по сохранению византийской сути русского государства: «1) *Государство* должно быть пёстро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно. Вообще *сурово*, иногда до свирепости.

2) *Церковь* должна быть *независимее* нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна *смягчать* государственность, а не наоборот.

3) *Быт* должен быть поэтичен, *разнообразен в национальном*, обособленном от Запада, единстве.

4) *Законы*, принципы власти должны быть *строже*; люди должны стараться быть лично добрее; одно уравнивает другое.

5) *Наука* должна развиваться в духе глубокого презрения к своей *пользе*» (7, с.46). Впрочем, на благополучный исход происходящего Леонтьев не особенно надеялся, а под конец жизни, видя привлекательность и популярность социалистических идей, даже размышлял о возможности соединения социализма и монархии.

Итак, вроде бы всё ясно: эстетика и биология у Леонтьева слились воедино и дали его теорию органического развития. Но не всё здесь так просто. Приведём знаменитую цитату, которую часто можно встретить у писавших о нём: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец

Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари бились на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий, или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» или «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки» (1, с.373). Ещё: «Разве я понимал в 20-25 лет ясно... Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооружённая борьба, сражения и «баррикады» и т.п.... Я, сам того не сознавая, любил в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не *штатскую* цель их.... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению» (там же, с.458). И самое красноречивое признание: «Эстетика спасла во мне гражданственность» (там же, с.459).

Почему важны эти слова? Да потому что они прямо и недвусмысленно говорят о первенстве эстетики у Леонтьева. А именно — эстетике поступка, события, действия, стиля, т. е. эстетике исторической. Красота истории, выражающаяся в сражениях, схватках, противоборстве, это и есть для него красота в высоком смысле. Здесь даже морали находится место («стыдно было бы человечеству»), и это тоже — мораль красоты, рождающаяся в противоборстве равных сил. А биология — ну да, она есть, но где-то там, вдали, в основе, т.е. присутствует невидимо. Поэтому и принимается она в расчёт только как аргумент, как доказательство или подтверждение; но роль её — подчинённая. По-настоящему Леонтьев ценил жест, поступок, процесс — всё то, что меняет историю. Это — зримо, это — наглядно, а результат, т. е. последствия, определяет величие происходящего. Конечно, это мировоззрение аристократа, для которого цель жизни и смысл её — в службе, которая и состоит целиком из эстетически «красивых» действий — жестов, поступков, мыслей, что неуклонно выливается в итоге в борьбу, противоречие, подвиг, и в самом конце — в победу или поражение. Аристократ чувствует в первую очередь историю, знает своё место в ней и меру ответственности за происходящее. Проза жизни как поэзия повседневности, цена хлеба насущного, изнанка всего великого и значимого исторически — всё это для него малосущественно. Поэтому мысль о слиянии биологии и эстетики неверна, хотя и интересна; но она искажает понимание мировоззрения Леонтьева, которое в основе своей — романтически-эстетическое. Да, собственно, и сам Розанов что-то подобное почувствовал, раз писал о совпадении Леонтьева с Ницше, признавая что Леонтьев его в своих идеях опередил, оказался раньше, хотя и не стал так известен.

А вот эстетика Розанова — совсем другая. И исток её тоже отличается от леонтьевского. Главный вопрос, всегда его интересовавший — это вопрос семейный, именно здесь был фокус его действительных интересов; именно через призму проблем семьи он смотрел на всё остальное. Самая ёмкая и исчерпывающая формула его отношения к семье дана им в «Уединённом»: «Семья есть самая *аристократическая* форма жизни» (6, с.60). Его книга «Семейный вопрос в России» (1903) стала первым серьёзным философско-публицистическим исследованием этой проблемы. Семья, считал Розанов, у нас, как и в Европе, «полуразрушенное явление», тогда как на самом деле она имеет глубочайший религиозный смысл, ибо в рамках семьи осуществляется таинство деторождения, без которого невозможна человеческая жизнь. И если уж и говорить про кого о совпадении биологического и эстетического, то Розанов, пожалуй, годится здесь больше Леонтьева.

А. Н. Николукин очень точно пишет: «Великое значение имеет цепкость к жизни... каковая и нужна нации. Она зиждется не на бесплодных Татьянах, а вот на

таких обмокших и усталых, всё «переступающих» ради детей женщинах»(2, с.324). Половой инстинкт, обуздываемый любовью — вот рецепт крепкой семьи, а раз крепка семья — то крепко и государство. Отсутствие любви рушит семьи, т. к. толкает к изменам супругов, которых ничто, кроме чувства долга, более не связывает, следовательно — семья становится формальной условностью, которая тяготит её членов. Кончается это плохо: разводы, незаконнорожденные (т. е. вне церковного брака) дети, разврат. Церковь делу нисколько не помогает, относясь равнодушно-формально, препятствуя заключению и расторжению браков, да и, в общем-то, незаинтересована и даже недоброжелательна в отношении деторождения. «Акт рождения человека не благословляется церковью. Только очистительная молитва над роженицей смывает, очищает грех появления человека на земле. «Не благословить человека в момент рождения, т. е. как *рождающего* и *рождённого*, значит, и самое бытие его не благословить», — заключает Розанов»(там же, с.335). Поскольку половой вопрос, точнее — его решение, и определяет «цепкость к жизни», значит, он — ключевой для всей человеческой цивилизации. Это, конечно, влияло и на его отношение к Леонтьеву, который был человек совсем не семейный. В примечаниях к одному из писем Н. Н. Страхова он пишет: «я, должно быть, сообщил Страхову, что Леонтьев был *utriusque naturae (sexus) homo* [обоих полов человек (*лат.*)], — с влечением к субъектам своего пола. Теперь, после «Люди лунного света», я смотрю на это совершенно спокойно, с мыслью — «не моё!», и далее этого не простирая осуждения»(5, с.106). И далее: «Щи, хлеб, правильное жалованье, правильная постоянная баба — это «кит», на котором «всё держится». ... и добавим, почесав затылок: «Мы — земледельцы, *геоморы*, и если хлеба не нарботаем, то умрёт и *музыкант*, и *иерей*». Вот — разграничение, и — примирение. Леонтьев — великий принцип, но — не весь. Он — *прав* (в эстетике), но — и ограничен.»(там же, с.108). И вот эти-то последние слова - ключ к эстетике Розанова, которая совсем иная.

Розанов признаёт, что эстетика Леонтьева — т. е. аристократическая эстетика истории, поступков и событий в ней и по факту есть, и имеет право на существование («Он — *прав*»). Но его эстетика — это эстетика семьи и её жизненных основ: стабильности, хлеба, детей и любящих родителей, мелких бытовых радостей. Его произведения буквально насыщены этим, Розанов упивается благоустроенностью быта и сопутствующих этому вещей. Он с явным удовольствием пишет: «У меня за стол садится 10 человек, — с прислугой. И все кормятся моим трудом. Все около моего труда нашли место в мире. И вовсе *civis rossicus* — не «Герцен», а «Розанов»»(6, с.29). Он простодушно радуется и смеётся, что на обеде «сегодня будут мозги». Даже свою фамилию он находит естественней в сочетании с профессией булочника, а не поэта. Почти циничное замечание «На полемике с дураком П. С. я всё-таки заработал около 300 р.»(там же, с.48) расставляет, на самом деле, истинные приоритеты — заработок важнее какой-то там «polemiki». Это всё — эстетика прозы жизни, мало кем замечаемая, но лежащая в основе людского существования; без которой рушится всё и теряет смысл эстетика Леонтьева, ибо она — вторична, хотя заметна и красива в высоком смысле. Тут великое проглядывает в малом, сама жизнь ежечасно утверждается в своей почве и напоминает о себе. Красиво, привлекательно и правильно всё, что поддерживает семью и семейный быт, т. е. главную основу человеческой жизни. А «литература» может и подождать; так же как и «искусство», и «идеология» и прочие развлечения ума. Отсюда со всей естественностью вытекает и консерватизм Розанова, в чём он также сходил с Леонтьевым; только источник у него другой, хотя на выходе у них получалось одинаково. И отсюда же и разность в их отношении к религии.

Религиозность Леонтьева носила глубоко личный характер, вплоть до какого-то религиозно-трансцендентного эгоизма, и стала его постоянной спутницей до конца дней с лета 1871 года, когда он очень тяжело заболел холерой и «пришёл в ужас просто от мысли о *телесной смерти*»(5, с.378). Спасла его, как он считал, искренняя молитва, в результате которой «через 2 часа я был здоров; всё прошло ещё прежде, чем явился доктор»(там же, с378). Случай важен был тем, что к эстетическому, по его собственным словам, принятию православия добавился страх божий, ставший с тех пор важнейшей составляющей его личностного восприятия религии: «Физический страх прошёл, а *духовный остался*. И с тех пор я от *веры и страха Господня* отказаться уже *не могу, если бы даже и хотел...* Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжёлое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется!»(там же, с.379). Наверное, можно сказать, что страх божий в соединении с эстетикой — это именно стиль православия, аскетически-монашеский и византийский, который Леонтьевым и был воспринят и усвоен, не больше того. А. Ф. Сивак специально уточняет: «Для Леонтьева не существовало никаких специальных философско-религиозных проблем, ни богоискания, ни богопознания, ни богооправдания, религиозный характер носила сама его умственная работа, интеллектуальные поиски»(7, с.70). Он вполне удовлетворялся официальной церковной догматикой, зато через призму этого стиля можно было бороться со стилем (точнее — бесстильностью) времён вторичного смесительного упрощения, ибо его восприятие религии очень хорошо ложилось на его же историософскую теорию.

Религиозность Леонтьева знает страх божий, но — не знает в религии любви, радости, тепла, сочувствия, именно избыток которых, особенно — любви, он видел у духовных властителей современности Толстого и Достоевского, и непрестанно с ними боролся. Касаясь же Розанова, можно сказать, что совпадение их было в том, что и Розанов — человек религиозный, это у них общее; но вот её тип и исток — совершенно другие. Розанов не сильно жаловал христианство как доктрину, ибо для него «Христос есть дух небытия, а христианство — религия смерти, апология сладости смерти. И вот религия рождения и жизни, проповедуемая Розановым, объявила непримиримую войну Иисусу сладчайшему, основателю религии смерти»(2, с.410). Зато Розанов любил и относился с чрезвычайной симпатией к бытовой стороне православия — к службам, церковным праздникам, к священникам. А. Д. Синявский даже говорил о бунте Розанова против бога — во имя божие, считая что бог внутренне совершенно неотделим от него и вместе с ним. Впрочем, это не мешало им соглашаться в мелочах и деталях, например оба, и Леонтьев и Розанов, сочли портрет Великого инквизитора в «Братьях Карамазовых» невыносимо фальшивым. Частично Розанов признал недостоверность образа старца Зосимы, и т. д.

Как видим, области философских интересов Розанова и Леонтьева пересекались в вопросах эстетики, религии и очень своеобразно понятого биологизма, который у Леонтьева носит вспомогательный характер, тогда как у Розанова он — действительная основа возможности самой жизни на Земле. Оба признают важность и значимость эстетического критерия при оценке тех или иных жизненных явлений, но применяют его к разным областям — Леонтьев к истории и её содержанию, Розанов — к обыденно-бытовой сфере жизни, что не исключает и взаимного признания обоюдной правоты обоих. Религиозность Розанова и Леонтьева, несомненная часть их мировоззрения, тоже имеет значимые расхождения — стилизованная у Леонтьева под византийский образец монашеского аскетизма, и светло-радостная бытовая повседневность у Розанова, сильно индивидуализированная его взглядом на семью как основу общества и государства. Касательно же историософских воззрений, мы видим достаточно стройную, упорядоченную систему у Леонтьева и признание значимости и

важности этой системы у Розанова; свои же рассуждения и мысли на тему философии истории Розанов не систематизировал, ограничиваясь отдельными заметками, разбросанными по разным произведениям. Одним словом, при значительной общности интересов, каждый из них сохранял собственную индивидуальность в идейно-теоретических вопросах, что и объясняет не гаснущий со временем интерес к ним обоим как выдающимся представителям отечественной философской традиции второй половины XIX – начала XX веков.

***

1. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 — 1891) — М., Республика, 1996 — 799 с.
2. Николукин А. Н. Розанов — М., Мол. гвардия, 2001 — 511 с.
3. Осьмачко С. Г. К. Н. Леонтьев и В. В. Розанов // Ярославский педагогический вестник — 2011 - №2 — Том 1 (Гуманитарные науки) — с.33-43
4. Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях — М., Республика, 1996 — 702 с.
5. Розанов В. В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев — М., Республика, 2001 — 477 с.
6. Розанов В. В. Уединённое — М., Политиздат, 1990 — 543 с.
7. Сивак А. Ф. Константин Леонтьев — Л., Изд. Ленингр. ун-та, 1991 — 88 с.

Олешкова А.М.

Идеология в интерпретации С. Жижека

*Нишнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) Российского государственного профессионально-педагогического
университета
(Россия, Нижний Тагил)*

doi: 10.18411/lj-06-2020-245

idsp: ljjournal-06-2020-245

Аннотация

В статье анализируется подход словенского философа Славоя Жижека к идеологии в контексте концепции постмодернизма и пост-современности. Современное общество развивается в русле разрыва, динамического неравновесия между абстрактом и фактом, реальностью и реальным. Состояние разрыва между ключевыми основаниями социальной системы неочевидно. Идеология как следствие языка власти и проявление символического направлена на визуальное сокрытие разрыва. Сложность и действенность механизма идеологии особенно рельефно описана в контексте фрейдизма и марксизма. Эвристический потенциал данных теорий обогатил С. Жижек. Отдельное внимание уделяется кинематографическому анализу, предпринятому С. Жижеком, и, в частности, концепту «матрица», который представляет на наш взгляд модель идеологии.

Ключевые слова: идеология, киногоид, матрица, язык, власть, насилие, символическое насилие, субъективное насилие, объективное насилие.

Abstract

The article analyzes the approach to ideology offered by Slovenian philosopher Slavoj Žižek whilst putting it in a broader context of postmodernism and post-modernity. Modern society develops in the gap of the dynamic imbalances between fact and abstraction, reality and the real. The state of the gap between the key foundations of social systems is not obvious. Ideology as a consequence of the language of power and the manifestation of symbolism is aimed at concealing this gap. The complexity and effectiveness of the ideology mechanics was well described in the context of Freud-Marxism. However, the heuristic